

Рассказ

НАШ МАРАТ растрепан, хмур и резок, руки его всегда напряжены и тяжелы, походка — стремительна, он качается, с трудом не бежит, гулко звучат его вечно грязные туфли. Он не здоровается, входя, и мы радуемся, когда он пропускает репетиции.

Не просто радуемся, если честно, а так, что включаем первый попавшийся диск и несколько минут просто прыгаем по залу, кидаясь на стены и на пол, и иногда что-то вскрикиваем сквозь зубы, но что именно — не разобрать самим.

Иногда в такие дни кто-то вдруг начинал махать руками, собирал всех вокруг себя, объяснял им что-то и за одно занятие делали этюд, да такой, что Марат, приходя, удивлялся самостоятельности и кажущейся ему самобытности того, что видел. Обычно этюды ему старались не показывать, но только через него они попадали на сцену, так что просмотра было не избежать.

Волосы его светлы, длинны и всклокочены, туфли грязны и грустны, когда он забывает их в раздевалке, но не поэтому, совсем не поэтому мы его — не любим.

Все начиналось очень просто: к нам приняли Алису. Невиннее события невозможно было придумать; она пришла на первое свое занятие, все узнали, как ее зовут и как она здесь оказалась, и начали разминку. Эта Алиса стояла в углу и с неприятным сосредоточенным выражением лица повторяла вслед за всеми плие, вцепившись левой рукой в станок. На ногах ее были зеленые гетры.

Марат пришел, как всегда, поздно и, не поздоровавшись, упал на стул в углу, свесив руки. От него старательно отводили глаза, а его острые колени упрямо указывали в зал, и его черные глаза придирчиво рассматривали каждого.

Я стояла к нему ближе всех, а дальше всех от него стояла Алиса, и вряд ли только зеленые гетры на ее ногах привлекли такое пристальное внимание. Мне с моего места было видно, как спокойно она работает и какое у нее при этом безразличное лицо. Все усыпанное бледными веснушками, но этого, конечно, разглядеть было нельзя.

— Я вот посмотрел сейчас, — говорит Марат, когда мы закончили и устроили перерыв, — какие же вы все-таки уроды.

И начинает объяснять каждому его недостатки. Мы внимаем. Нужно заниматься больше, больше, со следующей недели будет дополнительный класс хореографии, всем ходить в обя-

зательном порядке, ответственной — что неожиданно — буду я. На этом отдых заканчивается, и мы начинаем. Алиса сзади, разучивает все партии сразу, мы склеенными парами выходим на середину. Марат щелкает нам пальцами и отбивает ритм ногой.



Мы занимаемся каждый вечер, кроме субботы и понедельника, и устаем друг от друга на репетициях. Все реже и реже мы выбираемся куда-нибудь все вместе.

И это все Алиса.

Это все Алиса с ее бесцветными волосами и веснушчатым лицом, Алиса в зеленых гетрах, через неделю после своего прихода, попросившая Костю помочь ей, из чего получилась красивая приличная миниатюра. Костя поправил футболку, перевязал свой хвост и согласился: они ушли в угол и шептались и топтались там. Костя придерживал Алису, а она, лежа на его руках, ходила по стенам.

Не успев войти, Марат закричал на нас, что мы бездельники, и заставил вспоминать одну старую вещь, которую он хотел подновить, но которую никто не помнил. Конечно, это разозлило его еще больше, как злы были его шаги, когда он шел вдоль зеркал. Костя рассмеялся в углу и поставил Алису на землю.

- Вспомнили?! спросил у них Марат.
- Het, ответила Алиса. Мы не этим занимаемся.
- Почему вы не этим занимаетесь? Я ясно сказал: всем вспоминать «Стулья». Слышали?!

Его лицо становится очень некрасивым, когда он начинает кричать, темнеет и стареет за несколько мгновений; Алиса отшатнулась от него, шагнувшего в ее угол. Она в жизни не видела наших старых «Стульев» и ей нечего было вспоминать, но она промолчала. Сжала губы и про-

Вот так все и началось. Мелочь и мелочь, а потом вдруг выросло что-то ужасное.

 Не обращай внимания, — шепнул ей Костя потом. — Он у нас всегда бешеный.

Ему, конечно, повезло, что Марат не слышал. Алиса сдержанно кивнула, ответив: «Хорошо», – и больше в тот день не произнесла ни одного слова. Только помогая мне вытаскивать занозу из ладони, получение которой и завершило ту репетицию, полюбопытствовала, что это были за «Стулья».

- Джазовый номер, - ответила я. - Три человека ухаживают за одним стулом. А на стуле боа какой-то девушки. Потом кто-то побеждает, появляется девушка, но уходит с другим, а победитель так и остается со своим стулом.

- А третий?
- А третий остается один. Так и расходятся по углам — две пары и один, несчастный.
- Ну, может, он и не такой несчастный, возразила Алиса и сжала губы, вытаскивая одну тоненькую занозину. – Может, он-то как раз и счастливый. И за кулисами его ждет что-то хорошее.

 Когда ты на сцене, кулис не существует. Она отвлеклась от моей ладони, опустила

глаза, и я принялась считать веснушки у нее на щеках, но тут же спохватилась: Так Марат говорит.

На этом разговор прервался. Я ходила с забинтованной рукой больше недели, но снисхождения со стороны Марата не чувствовала.

И это повторялось из вечера в вечер.

Мы входили в зал, пахнущие осенней гарью, осенним ветром и осенней сыростью. На улицах зажигались фонари, мы не обращали внимания, у нас было новое задание: каждый раз какой-то паре завязывали глаза платком и ставили на середину. Так, чтоб, вытянув руки, они могли коснуться друг друга. К каждому слепому приставлялся один зрячий, чтобы направлять его в случае полной дезориентации, но обычно они молчали. Нащупав друг друга, слепые начинали приближаться, и мы все следили за их пальцами, стараясь дышать как можно тише. Иногда те, кому завязали глаза, начинали разговаривать друг с другом, но их речь была столь же непонятна нам, как и то, что чувствовали их пальцы. Возможно, именно это они и пытались сказать, но этого не почувствуешь, пока сам не ослепнешь.

Особенно Марат хвалил Костю и Лену, которым выпало выходить в числе последних. Лена была маленькое лысое существо, носящее вне зала огромные очки и не любившее серьезные разговоры. На все она отвечала шуткой, но, попадая сюда, телом не смеялась никогда. Она повела себя активнее всех остальных и, резким рывком притянув к себе Костю, позволила его пальцам походить по себе, а потом, будто лепила статую, поставила его, как ей чувствовалось, и медленно залезла к нему на плечи. Костя с трудом держал равновесие.

— А-и, — пропела Лена, соскальзывая на землю. Получилось сдавленно и конец смазался, но все равно нам понравилось.

А Алиса ведет себя так странно. Я все еще думаю, что мы ей нравимся. Когда она встречает кого-то из нас у дверей в раздевалку, ее губы улыбаются и все лицо, обычно такое сосредоточенное, неправильной формы, неприятное, оно все светлеет. И веснушки из угрюмых и жалких становятся весенними; она все-таки умеет улыбаться. А еще она умеет многое другое: однажды,

вместо того чтобы отдыхать в перерыв, она попросила нас всех сесть. Только Костя остался стоять. Она порылась в альбоме с дисками, нашла нужный, и на нас полилось какое-то невнятное шипение, изредка разбиваемое длинными скрипичными стонами; шипение — это был Костя, а вступающая скрипка — это была Алиса. Скрипка дергается, Алиса оступается, шипение усиливается, и Костя ловит ее, чтоб, аккуратно поддерживая, позволить ей, находясь в горизонтальном положении, пройтись по воз-

духу. После этого он ставит ее на пол и повора-

чивается к нам спиной.

Мы не успеваем похвалить эту их вещь, а ее действительно нужно хвалить, когда приходит Марат, но ни Костя, ни Алиса не спешат просить его посмотреть на то, что они сделали. Напротив, они уходят вглубь. Вместо этого на середину выходят трое других — они выносят стул и начинают оказывать ему всяческое внимание, но Марат хлопает в ладоши - он неожиданно придумал какой-то новый кусок, мы начинаем повторять вслед за ним, стул забыт, боа упало на пол. Так странно — увлекшись чем-то новым, Марат забывает о стуле, и тот со скрипом отползает в угол в конце репетиции. Больше мы к нему не возвращаемся.

 О, многострадальная мебель! — с пафосом обращается к стулу Костя, падая перед ним на колено.

Это уже другой день, один из тех замечательных дней, когда мы предоставлены сами себе, когда наш надзиратель почему-то отсутствует, и можно остаться здесь до ночи. Можно выключить свет и ходить на руках, невнятно и хрипло звуча горлом, можно не делать ничего, если тебе не хочется, если руки и ноги вдруг отяжелели, но этого, конечно, никто себе не позволяет.

 О, бесстрашный стул! Что за участь! Ты был на сцене и тебе рукоплескали, ты был обласкан светом софитов и прикосновениями заинтересованных в тебе рук! А теперь! О, горе!..

За представлением с любопытством наблюдают Леныч и Алиса. Я вместе с тремя людьми вспоминаю и придумываю поддержки, а остальные ушли, поняв, что Марат не явится. Так обычно и бывает: остаются немногие заинтересованные; и чем их меньше, тем интереснее проходит вечер.

 А теперь на тебе сидит Зиганшин, — продолжает Костя, хватая стул за сиденье. И, будь уверен, когда-нибудь он тебя раздавит.

Лена фыркает, стул безмолвствует. Жаба, державший меня на своем колене, устает и, взяв за талию, ставит на пол.

В тот вечер Алиса избрала себе в партнеры именно Жабу, а еще поманила Лену, и Лена тоже заулыбалась, а больше они никого не звали, хотя и не смущались, если на них смотрели. Алиса сидела на корточках, упираясь руками в пол, и раскачивалась, над ней стояла Лена, тоже поймавшая эту качку, а над ними возвышался Жаба и тоже раскачивался, иногда порываясь упасть вперед.

терес к своим поддержками, а Костя, изображающий Марата, застрял в стуле; а они раскачиваются, и по хитрющим Лениным глазам можно догадаться, что именно этого они и дожидаются. В зале становится холодно. Взрыв! Это Алиса с силой бьет в пол, и Жаба

Одна минута, две: мы уже потеряли весь ин-

падает вперед; она и Леныч успевают откатиться, утечь в стороны, но Жаба все равно придавливает их ноги, и они лежат. Снова можно отсчитывать минуту. А дальше? — спрашивает Костя.

- Следующая серия будет завтра, флегматично отвечает Жаба.

Алиса отряхивается и помогает Косте выбраться из стула.



Но следующей серии не получается, потому что Марат возвращается, и невозможно не заметить, как сникает Алиса, когда он находится в одном с ней зале. Марат занимал свой стул и запускал руки в волосы, глядя на нас. Нет, не одна она старалась отойти подальше. Иногда у Марата бывали такие глаза — стоит только взглянуть в них, как тут же забываешь все, что пришло в голову, и ищешь только укрытия от этого взгляда. Костя и Жаба дурачились друг с другом, когда у Марата были такие дни, но было видно, что и им очень неловко.

В тот день мне везло, мне странно везло: я забыла книжку, обещанную Марату, и он сам забыл о ней и не обратил внимания, когда Жаба глупо пошутил, растягиваясь у станка, и не смотрел ни на кого, кроме Алисы. Мне изредка требовалось пересечь эту невидимую линию, связавшую их двоих, и я незаметно нагибалась, чтоб не нарушить ее. А на самом деле всем было тягостно, Марат молчал.

Во время второго перерыва я сидела на полу и думала: что такого в ее прямой спине, что все, глядя на то, как она незаметно отворачивается от Марата, ловят себя на том, что стремятся отвернуться тоже?

Будет странная картина: Марат входит в зал, неся в руке свои ботинки, и застывает. Он видит ряд одинаковых черных спин: все сидят на середине зала, между станком и зеркалами, сидят, прижавшись или даже запутавшись руками, и

молчат. Эти спины — они только молчат ему. Хотя каждое человеческое тело может говорить. Вдруг мимо него проскальзывает кто-то, на-

пример пусть это будет Лена.

 Привет, — забывшись, от неожиданности происходящего говорит Марат.

Кто-то дергается, видя, как повлияло на него увиденное — он даже начал здороваться, но соседи удерживают его и не дают подняться с пола. Лена молча проходит на середину и, не глядя на Марата, садится с краю. Ее рука сплетается с моей рукой, а моей спине чудится, что Марат отшатывается назад. Он видит, что мы срастаемся друг с другом, и никогда больше не

повернемся к нему лицом.

Ах, Алиса, — я опомнилась слишком поздно. «Ах, Алиса!» — гремит у меня в голове.

Мышь! — донеслось из зала.

Мы выходили из раздевалки и брели по коридору мимо раскрытых дверей — я, Леныч и Алиса. У меня с завидной периодичностью сводило левую ногу на репетиции, и Марат предлагал уколоть ее булавкой, но я отказывалась и на одной ноге упрыгивала в угол.

Одно из самых страшных ощущений — понимать, что не можешь контролировать собственное тело. Неподвластное сокращение мышц под кожей, сигналы из мозга не доходят, застревают на полпути и нога неподвижна, хотя с такой же легкостью она может выпрямиться и устремиться вперед: кости пропорют кожу, выйдут наружу и все станут кричать и отворачиваться. Эти мышцы, эта дрожь — это что-то чужое, оказавшееся во мне, нужно вытащить, нужно избавиться. Тело подводит и в голове остается все меньше разума, начинаю понимать, что работают только рефлексы: как у гусеницы; поднесешь палец — и она свернется колечком.

- Мышь! доносится из зала.
- Мы тут подождем, говорит Леныч. Я сворачиваюсь колечком и вхожу в зал.

Марат сидит верхом на стуле, я спотыкаюсь о порог, но беру себя в руки — мне не сто лет, я могу, я чувствую себя. Мне нечего бояться и ожидать от себя неожиданностей.

 Ты чего? — спрашивает Марат. — Что случилось? Что-то случилось? Сперва мне кажется, что он говорит обо мне,

но он на самом деле говорит о себе, а то, что ругает меня за плохое поведение, — это так, не важно, можно и не услышать. Он говорит о себе. Разве мог он не заметить, как странно все избегают его последнее время. Разве мог он не заметить, что сейчас все у нас подражают Алисе и молчат на репетициях, все тише становятся, скрывают от него что-то, сговариваются. Мы больше не оставались выпить с ним чаю и поговорить о чем-нибудь, мы больше не звали его с нами в театр или на какой-нибудь маленький концерт заезжего пианиста, мы не ужинали вместе, мы виделись только на репетициях. Мы знали, что Марат одинок. У него не было семьи, а те, кто бывал у него дома, делали огромные глаза и качал головой. Там была одна комната, заваленная дисками и книгами. Диван, из которого сыпался песок при каждом прикосновении. В кухне жили тараканы, стоял вялый декабрист. На окнах не было занавесок, а по ночам трубы

- пели и клокотали. Марат бывал там редко. Все в порядке, — отвечаю я ему.
 - Да? Точно? спрашивает он.

В левой руке, которая безвольно лежит на спинке стула, у него зажата сигарета; пепел вздрагивает и падает на пол. Может, мне показалось, а может, у него на самом деле не было зрачков в тот момент.

- Я думаю, — наконец произнес он, — все будет хорошо.

Я чувствовала, как мои брови вопросительно изогнулись, но спохватилась, мое тело подчиняется только мне, и вновь вернула лицу непроницаемость.

 До свиданья, — глухо буркнула я и убежала вон из зала.

Алиса и Лена стояли у двери и молчали.

- Что? спросили они.
- Я порчусь, сказала я. Он ругается.

Алиса улыбнулась своими длинными губами.

Каждый вечер я бываю эхом городских переулков, ноги сплетаются друг с другом от холода, и я передвигаюсь короткими перебежками от угла к углу. Бег — это падение, и я спасаю себя, выкидывая вперед то одну, то другую ногу, отрываюсь от земли и зависаю. Я бегу неслышно, локти прижаты к телу, до нашего дворца культуры путь совсем короток, и я специально кружу, пропитываюсь дождливым воздухом, бегу по улицам, обгоняя дома и фонари. Смысла в этом не вижу, но, перепрыгивая через громадные лужи, не замедляя хода, проглатываю совершенно иной воздух, чем если брести пешком.

Потом прихожу, здороваюсь со всеми, и мы поднимаемся по лестнице в зал.

Мышь, подойди, — позвал Марат.

Выхожу на середину, молча жду, что будет

 Ну, допустим, допустим, — бормочет он, обходя и разглядывая меня. Но глаза сегодня обычные, не безумные, не меня он видит, а движение, перетекающее из одного в другое. То, что их выполняет мое тело, совсем неважно. -Представь, что ты... рыба.

Молчу некоторое время.

- Мне нужна вода, что здесь еще сказать.
- Андрюх, покладисто командует Марат, и Жаба выходит ко мне.

Мышь и Жаба. Рыба и ее река.

Я вздрагиваю, покачиваюсь и медленно открываю и закрываю рот, стекленея глазами. Из рук исчезают все кости, моя вода поддерживает меня и куда-то несет. Мои ноги срастаются и выбирают направление, а голова тяжела и ленива. Марат сидит на полу, прислонившись спи-

становится справа от нас и начинает клокотать горлом, бурчать, журчать, это звуки воды. Слушай ее, – говорит мне Марат. – По-

ной к зеркалу. По его кивку выходит Леныч,

пробуй услышать.

Я отдаю свое тело воде и ее голосу. Глазами ничего не вижу. Сколько это длится, я не запоминаю, но как потом приятно встать на землю, закрыть рот и что-то сказать. Я очень часто становлюсь жертвой этих внезапных идей Марата, и раньше мне это очень льстило, точно так же, как и то, что он ругает меня. Это значит, что ему нужно, чтоб я росла, я слушала его и росла, молчание было хуже всего, но сейчас не его молчание было тяжелее. Алисино перевесило.

Он позвал Алису к себе в пару и взял ее за руку, велев нам тоже разбиться на пары и повторять вслед за ними. Заставил ее нырнуть под свою руку, а потом аккуратно установил ее ноги на свои и сказал, что пол очень горяч. Алиса поняла и не наступала на него. Я, лежа на плече своего Жабы, обнимала его за шею и смотрела на ее лицо. Оно ничего не выражало, было спокойно и было больше похоже на совершенно гладкую кожу — глаза, нос и рот затянулись белой пленкой, их не было видно. Иногда она морщилась и тогда по этой белой пленке пробегала рябь.

Ах, Алиса, и ее тонкие руки, ее острые локти, ее индийские пальцы и острые мелкие зубы в горячем рту, укусившие мою шею, и откровенно открытые, когда она смеялась. Только сейчас она не смеялась. Она смотрела на Марата, и он вдруг почувствовал ее презрение, смутился и разогнал нас всех очень быстро, попрощавшись. Мне хотелось знать почему, но я постоянно сбивалась на мысли, начинающиеся вздохом — ах, Алиса...

ми. Вот представляешь, приходит он к тебе в один прекрасный день, — Алиса молча слушает, стоя на одной ноге, — и ходит там что-то, ходит, а потом вдруг кричит — сука! — оглушительно заорал Марат. Мы вздрогнули, Алиса не шевельнулась,

Знаешь, — говорит Марат, прохаживаясь

между нами и отстукивая ногами какой-то сти-

хийный ритм, — ты к нему должна относиться... относиться... Как к мужу. Со всеми недостатка-

только дернула головой. Он усмехнулся и про-

должал: — Вот лицо у тебя должно быть такое же, как сейчас, когда ты на него смотришь.

На самом деле, я думаю, Марат знал о мужьях и женах не больше нашего, этот тощий крикливый человек. Он взял Алисину голову обеими руками и повернул ее к зеркалу, чтоб она могла увидеть и запомнить свое лицо. Потом отошел к магнитофону, скормил ему блестящий диск и кивнул нам: можно начинать.

После занятия мне нужно отнести магнитофон и чемоданище с дисками в комнатку Марата, которая ему лично служит офисом, раздевалкой и даже иногда спальней. Там всегда душно, светло, накурено и тесно: мы иногда там пьем чай. То есть раньше пили чай: остыв после занятий, переодевшись, выключив в зале свет и проветрив его, закрывали раздевалку и приходили со своими вещами сюда. Кидали их на пол, как-то рассаживались на креслах. Не все, конечно, оставались — большая часть уходила сразу; были — $_{\rm H}$, Лена, Жаба — чаще всех. Когда я впервые была допущена на такое чаепитие, я слова не могла почему-то сказать. А они все говорили без умолка, в каждом кресле (низком, желтом, продавленном) шел свой диалог, потому что сидело на них, как правило, по три человека. Когда Марат спросил, есть ли у меня какие-нибудь свои идеи, я подавилась чаем и пролила его — кипяток! — себе на колени; все смеялись, но он не отставал, и в конце я перестала бояться, и мы тихо говорили, склонившись друг к другу через стол о воздушных шариках, о том, сколько всего ими можно выразить и как с ними можно танцевать.

— Ну да, ну да, — бормотал Марат. — А какую ты книгу сейчас читаешь? — Я... ну... «Гистология и общая цитология»

— л... ну... «тистология и оощая цитология Быкова, — смутившись, отрапортовала я.

Чья-то рука проскользнула под моим локтем и протянула мне кружок лимона, посыпанный чем-то белым. Поблагодарив, я взяла его и откусила, глядя, как Марат разочарованно отвернулся и роется под своим стулом, где были какие-то черные сумки. Но — на лимоне вместо сахара оказалась соль (на лимоне — соль! До сих пор не укладывается в голове, но мы едим это каждую неделю, как только заводятся новые лимоны, и это вкусно). И в результате я принимала от него книжку с неразборчивым названием, не умея собрать свое перекосившееся лицо. Книжка была — гессевская «Игра в бисер», и так я узнала, что книжки живут у Марата под стулом. А вообще же приглашение на такое чае-

питие означало, что я стала — своей. Несмотря

на то, что пили только чай и кофе, никакого ал-

коголя, сердце тогда плясало чечетку, в животе

прыгали горячие лягушки.

А теперь вот мы отчего-то больше не собираемся. Раньше там всегда было полно народу, приходили какие-то люди со стороны, незнакомцы, но все радовались, здоровались, обменивались какими-то новостями, о спектаклях, о фотографиях, о планах — звали нас всех в подвальный театр, на просмотр фильма с ужасно неприличным названием, о котором говорили — настоящее кино, не глянцевое. Наше кино, гово-

рили. Без шуток. Посмотрите.

Маратом и на наши расспросы одинаково скривились, а молодой человек с сутулой спиной и холодными, влажными руками, больше у нас не появлялся. Когда он, пригласив нас в этот подвальчик, уходил по лестнице, он все время оглядывался, потом возвращался и прощался еще раз, снова уходил и снова возвращался, а потом Марат не досчитался зажигалки и какого-то модного диска, но — не факт, хотя диски все были у нас на учете и пропадали редко.

Да, да, отвечали мы, в итоге сходили Жаба с

В общем, каждый вечер что-то происходило. Иногда, когда удавалось уволочь из кабинета вышестоящего начальства видеодвойку, мы смотрели разные концерты и программы — например, про школу Элвина Эйли, с людьми из которой работал Марат в летней школе; или про маленький немецкий балет, который устраивал свои спектакли в старых, разрушающихся домах; или про американскую труппу из восьми человек, которая поставила чудное действо — «Конверт» на музыку Пуччини, права на который теперь стоили огромных денег; или про Айседору Дункан (ее

фотография, напечатанная на тоненькой бумаге, висела у Марата на стене вместе с разными дипломами и сертификатами).

Сейчас я спрятала магнитофон и диски в шкаф, заперла его на ключ, впихнув туда облако белой марли, которое вываливалось каждый раз, когда открывали дверцы. Марат сидел в кресле, выставив свои колени (как будто защищался), и курил.

— До свиданья, — чуть вопросительно сказа-

- До свиданья, чуть вопросительно сказа ла я. — Мынь — ондть сказал он — а вот как умен
- Мышь, опять сказал он, а вот как умер Ха... ну ладно. До свиданья, да.
 - Как умер кто? спросила я.Как умер? Кто? откликнулся Марат, и
- стало понятно, что на него опять нашло что-то необъяснимое. Со мной тоже иногда так случалось, а Жаба,

например, постоянно был в таком странноватом состоянии.
— Мышь, а Мышь... — сипло сказал Марат. —

- Пойдем гулять.
 Куда? спросила я и тут же вспомнила: —
- Я не могу. — Не могу, — сказал Марат. — Я — не могу. Пойдем.
 - Я... С Алисой мы идем.
- Идем, снова попросил Марат, не двигаясь.
 - Я не могу, ответила я.

Ужасно выходило. Он сидел в этом кресле и смотрел на меня стеклянными глазами и не желал говорить сам, как будто просто ленился, и мог сделать сейчас, что угодно, — его нельзя было оставлять. А я стояла напротив, совершенно обычная, обе ноги — на земле, все в порядке, все спокойно, и чувствовала к нему теперь не безграничное уважение, и восхищение, и понимание, и преклонение, как раньше. А только немножко равнодушия, отвращения и неприязни — я ведь помнила, как он накричал сегодня на Алису. Мне это почему-то было больно. А видеть его таким потерянным и жалким — не больно. Только противно.

— Извините, — сказала я.

Но, прежде чем успела договорить, он вдруг вскочил, схватил меня за плечи жесткими пальцами, повернул и вытолкал за дверь. В скважине повернулся ключ.

Очень ясно увиделось: начни я сейчас стучать, он откроет, втащит обратно и все расскажет. Он, наверное, сейчас стоит за дверью и ждет. Стука ждет, испуганного, встревоженного, частого стука. Моего.

Я же — повернулась и пошла в раздевалку, к Алисе.

- Я... - смеялась Алиса. - Я... - захлебывалась Алиса. — Я...

Огромные рыжие волосы, глаза блестят, голос улыбается, и мы стремительно шагаем по блестящим, мягко светящимся расплавленными огнями улицам; я иду и мне взволнованно-

холодно от того, что я могу говорить об Алисе и себе — «мы».

 Я думала — умру на репетиции, — говорит Алиса. — Он ведь — на меня одну так кричит, он ведь ни на кого так не кричит... только на меня.

 На всех, — отвечала я, зная, что это неправда, — он даже раньше... в общем, раньше еще хуже было, так что это не самое страшное.

 Вот так — нельзя. В любой ситуации, даже если он просто объясняет, и не извинится даже, это ужасно... почему я всегда с ним в паре?

— Это лучше всего, с ним быть лучше всего. Ты тогда все понимаешь, чего он хочет... С ним

всегда лучше всего.

 И вовсе не лучше. Я ненормальная, вдруг бормочет она, забывая о Марате, - я же вот от всего сегодня ночью счастлива — от луны, от облака, от света, от запаха — какой запах, да? — от того, что вот мы просто идем, от того, что мы не просто идем — но куда-то, от того, что это именно мы идем — я и ты... Я ненормальная и от этого тоже счастлива, и мне хотелось бы именно так умереть, именно в таком состоянии,

когда я уже не могу следующего вдоха сделать

 Не надо умереть, — говорю я, иду рядом с нею и думаю: да, безумная, никто не говорит таких слов, никто, да, безумная, да. А скованность от того, что я, возможно, не сумею поддержать беседу, пропала, она невозможна, когда Алиса вот так смеется, глядя вверх, и ее зубы и глаза блестят посреди ночи, горят ее глаза; и мы, схватившись за руки, идем. С ней рядом — невозможно не быть такой же необъяснимо счастливой всем. Алиса.

от счастья...

Скоро у нас концерт.

Вообще-то все знали о нем еще за месяц, точную дату и время назначили за две недели, список номеров утвердили за неделю, а мы спохватились за три дня. Да, я впервые увидела наши афиши в городе, ровно за три дня до концерта. Так стало понятно, что его не избежать. И внутри — из самого центра головы и до пяток, некой точки между ступнями, которая является продолжением моего тела, хоть и находится вне его, — натянулась толстая звонкая струна. Ее вибрация не прекращалась ни на минуту.

Это очень привычная суматоха - мы несколько часов копались в ворохе своих костюмов, и я в который раз думала, до чего же они бедны. Льняная, крашеная нами же ткань — для большинства номеров; наши собственные строгие костюмы для легкомысленных джазовых танцев и черные шляпы, которые обязательно упадут с чьей-нибудь головы; легкие цветастые ткани, которые нужно будет укреплять на себе морскими узлами; и — для одного этюда обычная повседневная одежда, черные колготки и майки. Все отобрали свои вещи и растащили по домам — стирать, мерить и ушивать. Правда, до этого был прогон в костюмах.

Марат был угрюм и сер. Курил без меры, утвердил большинство показанных ему этюдов, решительно не хотел репетировать с Алисой. Она была задействована только в одном танце Почему ты так не любишь его? — спросила

я, зашнуровывая ботинки в раздевалке. Алиса медленно обматывала шею шарфом.

Посмотрела на меня, а в глазах ничего не читается. — Почему вы так думаете?

- Это не мы, а я, - отвечаю. - Ты с ним не разговаривала ни разу. — Hy и что? — слабо улыбается Алиса. — За-

то танцевала.

Она рассказала, что она — не словам верит, она верит только жестам и прикосновениям; сама может изобразить что угодно и никогда не делает так, никогда не обманывает — нас. Но другие — не так; насчет Марата я не знаю, великий ли он обманщик или вовсе наоборот; но другие лгут телом, не задумываясь. Им она не верит; а нам улыбается потому, что мы тоже не лжем. Живем без всякого намека на нарочитость, говорит она; хочу верить ее словам.



Но в результате из-за слов все и вышло. Даже если им не верить, их ведь невозможно не слышать.

 Идиоты, — говорит Марат. — Придурки. Коряги.

Концерт у нас завтра.

Все идет отлично. Отлично, у Марата необъяснимые вспышки бешенства каждые пятнадцать минут, он нервничает, кричит, ругается. От него постепенно заражаются все: Жаба не отвечает ни на один мой вопрос, Лена слоняется без дела и странно бледна, Костя, лишившись своей обычной жизнерадостности, угрюм и уныл,

Алиса — что хуже всего — вдруг снимает свою обычную сомнамбулическую маску.

— Делай! — кричит Марат. — Давай, сейчас же.

Не могу, — отвечает она.

Он вдруг резко взялся все менять и придумал, что Алиса должна сделать целую серию акробатических элементов, оказавшись на сцене.

 Это просто демонстрация какая-то, — возражает Алиса.

— То есть?

 Показать — я вот так умею, а смысла в этом никакого нет. Тем более, я все равно не умею.

 Делай, — приказывает Марат. — Учись, прямо сейчас. Вот давай — учись. Сейчас же.

Не могу, — говорит Алиса.

Но под его чудовищным взглядом вдруг сда-

ется и покорно прыгает на руки, чтоб потом стечь на землю — сначала грудь, потом живот, бедра и ноги; и конечно, с первого раза, без страховки у нее ничего не получается, и она оглушительно, всем телом, плашмя падает на пол.

 Господи, — шепчет Жаба и делает шаг к ней, потому что Алиса не двигается.

Вставай, — говорит Марат.

Жаба останавливается, Алиса как-то встает — она ужасно бледна и шарит руками по телу, как будто ей хочется схватится сразу за все, а рук — только две.

Еще раз, — говорит Марат.

— Я не могу, — отвечает Алиса.

Еще раз. Не могу — не существует.

Я не буду этого делать. Я не хочу...

Марат смотрит на нее, втянув щеки и приоткрыв рот. Она расставляет ноги пошире (голова у нее наверняка кружится), но он хватает ее за руку и вдруг ведет к двери, не ведет — тащит; она не понимает. А он раскрывает дверь и вдруг кричит, по-настоящему кричит:

Пошла вон! Не хочешь — вон!!! Убирайся!

И выталкивает ее кулаком — в спину, и захлопывает дверь, и рывком ставит меня на ее место с коротким:

Давай.

И я, глядя на его покрасневшие белки, побуревшее лицо, к собственному стыду, боюсь возразить. Покорно соскальзываю на пол, так ничего и не сказав.

Я знала, что ее зовут Алиса и что она может так кричать, обернув голову голубым платком. Только она и может так кричать, стоя посреди сцены и пробивая мою голову этим высоким вибрирующим «л».

Она стоит, хотя он изгнал ее, и кричит, похоже на сон, и во сне даже она ненавидит его больше обычного, но ведь громкий бесстыжий голос и всклокоченные волосы — еще не повод ненавидеть человека, ведь правда же, правда.

Как она оказалась здесь? Я принялась строить предположения: как

было похоже происходящее на то, что Алиса когда-то любила Марата, бывшего тогда не менее бедным и странным, чем он сейчас; ах, Алиса, и твои голые плечи, пахнущие потом и пылью, и твои серые волосы, и когда-то ты любила его, а потом у него наступил кризис, и он позабыл всех, с кем был близок раньше, и забыл тебя, забыл. И она не пойдет спрашивать его в лицо, почему он больше не звонит, она думает, что он изменяет ей с одной из своих танцовщиц, ведь иначе откуда такая страсть в его глазах, когда он кружит одну из них в красном платье на очередном концерте, Алиса смотрит из зала, а потом уходит и часами учится держать свое тело, учит его подчиняться и иногда выходить за границы дозволенного, и тогда, и тогда, ах, Алиса... Я снимаю красное платье и говорю, что не могу остаться на ужин после концерта, хотя я и принесла на общий стол салат, я выхожу и иду по блестящим от дождя улицам, а за мной неслышно движется женщина, и я хочу оглянуться, но вдруг начинаю бояться ее, и боюсь так сильно, что не замечаю, когда она исчезает, а потом она заходит в зал через несколько лет, я смотрю на ее ноги в зеленых гетрах и пою про себя: ах, Алиса...

Она давно умолкла и на сцене никого нет. Сверху доносится ругань Марата и звукорежиссера. По сцене блуждает свет из пушки. Я кладу под голову рюкзак и закрываю глаза. Уже половина второго. На улице — ночь и дождь. На сцене полумрак, на сцене нет никакой улицы. Мы еще даже не начинали основного прогона.

Или, может быть, все было не так; может быть, Алиса была вместе с нами в летней школе танца и видела, как Марат участвовал там в очередном эксперименте, как он носился по лестницам старого здания школы и как вежлив был с нами, как смешлив, как красив; и вот она бросает все свои занятия, среди которых танец хобби по вечерам, и ни одного концерта вот уже три года, и редкие абонементы на занятия с заграничными педагогами, и вот она разыскивает нас, а попасть в группу не сложно; стоит прийти, и если ты хорош, то тебя заметят, и ее заметят, ведь это Алиса; и стоит ей приблизится к нему, как она понимает, что пропала, проиграла, обозналась и не оставила своим родным ни одного слова, исчезнув, чтоб отыскать этого человека, который настолько замкнут в себе, что не может запомнить ее лица и ее имени, не может обратить на нее хоть ту каплю внимания, которую она заслуживает, и просто потому, что он не видит, не видит, что это Алиса; а она верила, что стоит ей войти, как он тотчас узнает ее, и...

Открываю глаза, рядом ноги в зеленых гетрах.

- Привет, говорит Алиса, спи, я просто посижу.
- Я не сплю, говорю я и тру глаза. Что ты здесь делаешь?
- Я решила, отвечает Алиса, просто здесь побыть, я же не мешаю? Просто посмотреть.
- Алиса! шепотом кричу я. Ты только не уходи от нас. Не обращай на него внимания, но не уходи. Он ведь так, он не плохой, правда, он странный... Но он... Не обращай внимания. Тебе нельзя уходить. Ты ведь танцуешь. В этом городе танцевать больше негде.
- Я правду говорю.

 Есть театр, говорит она, но театр для балерин, а не для самоучек, как мы, и мне все равно, что он есть, там все равно все не так, там все равно были бы не те мы, что есть сейчас.
- A Марат одумается, вот увидишь, шепчу, и вернет тебя. Он увидит, что ты лучше всех, и вернет, говорю я и оказываюсь права.

* * *

ки всему.

У Алисы — глаза горят, и в руках ее — невидимы! — мы. Я в сонном бреду брожу по сцене босиком, и из зала до меня доносится только тишина. Она улыбается редко, она говорит трудно, она на нас смотрит гордо, но мы ее — вопре-

Леныч говорит, что иногда думает о ней, как о сестре, и о том, что у нее шрам сзади на шее, который звучит Алисиным дыханием под пальцами, а я улыбаюсь от нежности и киваю, забывшись; ни ревности, ни безразличности; ну как же, это же наша, *наша* Алиса.

Жаба дарит ей цветы и обнимает украдкой на улице, ласково берет за плечи, оберегая, как потерявшегося ребенка, и шутит, чтоб только увидеть, как уголки губ уползут вниз в недоуменном, недоверчивом восхищении; и вырастающая, как стена, как каменная становится, когда рядом Марат.

И все, что я ни скажу про то почему, — неправда; я не знаю ничего; лгать о ней — руки тяжелы; молчать о ней — разорвусь. Это точно так же, как с движением: я не могу, глядя на сцену из зала, быть спокойной, я смотрю на свои ру-

ки — они горят изнутри, меня сжигает; ноги начинают дрожать, дрожь уходит в пол и тот — вибрирует под ногами, будто толчками огромного горячего сердца из глубины пробивается ко мне — то, что вскидывает над полом. Распластываюсь в прыжке, и воздух тут же густеет, твердеет, держит и держит, и кисть правой руки не чувствует веса, доверься я воздуху, оторви я от сцены пальцы — полечу.

Мы все сейчас влюблены. Нам через десять минут на сцену. Влюблены в каждого, спокойны уже до лени, самое отвратительное кажущееся спокойствие — а внутри гремят барабаны, сердце где-то в висках. Прыгаем по сцене, грея мышцы.

Но на самом деле все — немного неправда. Она сидит на стуле и молчит. Как будто ее подменили за одну ночь. Да, мы не спали почти, да, вчера вечером, ночью, Марат вернул ей ее партию, девушки в желтом в последнем номере, но с тех пор они не говорили, и с тех пор она молчит и только сидит на стуле, как будто она ничего не видит. Как будто она ничего не понимает, и она даже еще не переоделась, и грима никакого на ее лице нет, как будто просто захожая гостья, которой не досталось места в зале.

На вопросы, что случилось, она не отвечает.

А потом, перед самым началом, уже испугавшись всерьез и потеряв всю свою легкость, я са-

шись всерьез и потеряв всю свою ле жусь перед ней на колени и говорю:
— Алиса, сейчас же иди одевайся.

- А она спокойно отвечает:
- А опа спокоино отвечает
- Я не буду танцевать.

И прежде чем я успеваю что-то ответить, мимо проносится Жаба, как огромный поезд, и забирает меня с собой, ставит на сцену, и кулисы тут же разъезжаются, краем глаза вижу, как с другой стороны выскакивает взмыленный Марат, которого где-то носило, а потом загорается свет и льется звук. Больше я не вижу ничего, кроме незнакомых людей на сцене, не слышу ничего, кроме этой тяжелой, изредка звякающей колокольчиками, текущей, падающей музыки.

* * *

- Иди, говорю я и силой поднимаю ее с кресла, Алиса стоит заторможенно, смотрит в пол, не слышит, не видит ей же танцевать сейчас, ну что она.
- Сейчас наплевать на это, забудь про него, это не Марат там, на сцене! шепчу я, присев и заглядывая снизу в ее лицо. Марата там нет, там просто человек, у него и имени-то нет, и ты его... ты его...

— Алиса! Ты его не можешь не любить, ты никого, кроме него, не помнишь, не знаешь, он тебе письма писал самолетиками на газетах и у тебя на плечах его пиджак... У него зеленая рубашка, у него ботинки на шнурках, самолетики — вот вся его история, абсолютно плоский человек, без прошлого-будущего, — Алиса, слышишь? Сейчас ты к нему выйдешь и у вас все будет хорошо, а занавес рухнет — и все кончится. Но историю надо — надо ее, не знаю... создать. Там зрители. — Там зрители, их надо — их надо заставить

поверить. Там человек в зеленой рубашке. Здесь девушка в желтом платье. Она не ненавидит. Она любит — того, кто в зеленой рубашке. И сейчас... Она скоро уже появиться должна. Это она. Иди.

Не знаю, что действует, но вдруг меня будто

бы сносит вихрем прямо в кулису; это Алиса выносится на сцену с каким-то плачем, всхлипнула — и замолчала. А мы все — остались в этой темноте, и я до сих пор горю, я до сих пор дрожу, и нога у меня посинела, пальцы не шевелятся, онемели — я в самом начале споткнулась об один из тех ужасных кирпичей, которые придавливают концы кулис к полу. Стою цаплей — и ничего не вижу.

Они там, на сцене. Вдвоем только на сцене, и музыка — тонкие, полудетские голоса говорят быстро и плавно один слог: «па», как будто бабочки машут пестрыми крыльями.

На сцене двое людей, и сейчас больше ничего

не существует. Они все промахиваются друг мимо друга: мужчина в зеленой рубашке кидается к девушке в желтом платье, а она как-то ускользает в сторону с блаженной улыбкой, совсем его не замечая. Мужчина делает немыслимые прыжки и резко взмахивает прямыми руками, падает прямо на пол и волной встает на ноги, а она — кружится и подпевает музыке, как будто не видит его. А потом — попадается, как бабочка, лимонная бабочка — в сачок, в его руки. И он ее больше не отпускает, у него тут же ожесточается лицо — никакого страдания, только сосредоточенность. Но он обнимает ее: кажется — крепко, на самом деле — боясь прикоснуться, как самую хрупкую статуэтку, и проводит ладонью по ее щеке, заставляя повернуть голову прямо в зрительный зал. Но там - только темнота, ее слепят софиты, пушка, и ей ниче-

го не остается — только повиноваться его рукам;

нет на каждых руках и цепляется за их одежды, и каждый раз кто-то новый берет ее и уносит, кружит, ведет, и ее ноги безвольны, руки слабо сопротивляются, голова лежит на плече. Потом чья-то тень оставляет ее на самом краю сцены, и секунду, две, больше — она просто смотрит в зал, но не видит — ослеплена; и хочет уже заговорить, рассказать им, как ей тут плохо, как неприятно, противно, больно — тем, кто смотрит на это, как на вечернее развлечение, как на спектакль; хочет им рассказать все. Но тут он, мужчина в зеленой рубашке, вырастает у нее за спиной и закрывает ее рот широкой ладонью. А потом с силой толкает вперед, она от неожиданности делает шаг и уже почти летит — с авансцены, вниз, в черный зал, волосы уже над этой пропастью, нога уже занесена. И в последний миг он хватает ее за руку, дергает назад и, заставляя обежать полукруг, возвращает к себе, и она силой его рук взлетает над ним. Музыка захлебывается речитативом, и флейты и скрипки, и долгие звуки виолончели. Марата не видно, только она — одна, высоко, в самой середине густого мрака, освещенная лучом и вдруг взмахнувшая руками и соскользнувшая по его спине, головой — вперед, головой — вниз. Все тени давно исчезли, никого нет, плачущий голос, и это конец, и свет наливается желтизной, и они стоят обнявшись. Пушка гаснет, сцена окончательно исчезает. Сейчас две светлые тени должны вломиться за кулисы, и я снова дрожу, не зная, как все будет, что делать, как быть. И как смотреть на Марата. Рядом дыхание — это Лена, переступает с ноги на ногу, и что-то щелкает сзади, и ни хлопка еще не раздается из зрительного зала — там только провал, по-прежнему черный провал. И тени все никак не возвращаются. И вдруг понимаю они ведь так и стоят там, обнявшись, стоят и дышат в унисон, друг другу в плечи, с закрытыми глазами, с дрожащими коленями, с горячими щеками. И не шевельнутся. Просто стоят, об-

нявшись, как будто — отпусти они друг друга и тут же — мгновенно — потеряются, утонут в

этой темноте.

она сжимается и всхлипывает — слышно. Потом

появляются чьи-то тени, какие-то люди в белых

одеждах, высокие с цепкими руками, и одна из

теней я, просто прохожу где-то сзади, рисуя но-

гами по полу круги. Тени берут женщину в жел-

том платье и передают ее друг другу, и она вис-